



А. И. ГЕРЦЕН

О развитии революционных идей в России

<Фрагменты>

IV **1812–1825**

<...>

У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести.

Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы. Революционные стихи Рыльева и Пушкина можно найти в руках у молодых людей, в самых отдаленных областях империи. Нет ни одной благовоспитанной барышни, которая не знала бы их наизусть, ни одного офицера, который не носил бы их в своей полевой сумке, ни одного поповича, который не снял бы с них дюжину копий. В последние годы пыл этот значительно охладел, ибо они уже сделали свое дело: целое поколение подверглось влиянию этой пылкой юношеской пропаганды. <...>

14 (26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического воспитания, и — что может показаться странным — причиной огромного влияния, которое приобрело это дело и которое сказалось на обществе больше, чем пропаганда, и больше, чем теории, было само восстание, геройское поведение заговорщиков на площади, на суде, в кандалах, перед лицом императора Николая, в сибирских рудниках. Русским недоставало отнюдь не либеральных стремлений или понимания совершавшихся злоупотреблений: им недоставало случая, который дал бы им смелость инициативы. Теория внушает убеждения, пример определяет образ действий. Подобный пример всего необходимей там, где человек не привык осуществлять свою волю, выступать открыто, полагаться на себя и чувствовать свои силы; где, напротив, он всегда был несовершеннолетним, не имел ни голоса, ни своего мнения, хоронился за общиной, будто за неприступной стеной, и был поглощен государством, как бы затерявшись в нем. Вместе с цивилизацией,

естественно, развивались также идеи свободы, но пассивное недовольство слишком вошло в привычку, — от деспотизма хотели избавиться, но никто не хотел взяться за дело первым.

И вот эти первые пришли, явив такое величие души, такую силу характера, что правительство не посмело в своем официальном донесении ни унижить их, ни заклеить позором; Николай ограничился жестоким наказанием. Безмолвию, немому бездействию был положен конец; с высоты своей виселицы эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз.

Не менее решительным было действие заговора 14 декабря на самое правительство; от Петра до Николая правительство высоко держало знамя прогресса и цивилизации; с 1825 года — ничего похожего: власть только о том и думает, как бы замедлить умственное движение; уже не слово «прогресс» пишется на императорском штандарте, а слова «самодержавие, православие и народность» — это *mane, fares, takel*¹ деспотизма, причем последние два слова стояли там только для проформы. Религия, патриотизм были всего лишь средством укрепить самодержавие, народ никогда не обманывался насчет национализма Николая; ярчайшее выражение его царствования — девиз деспотизма: «Пусть погибнет Россия, лишь бы власть осталась неограниченной и нерушимой». Этот дикарский девиз устраняет все недоразумения, именно 14 декабря принудило правительство отбросить лицемерие и открыто провозгласить деспотизм.

Незадолго до мрачного царствования, которое началось на русской, а продолжалось на польской крови², появился великий русский поэт Пушкин, а появившись, сразу стал необходим, словно русская литература не могла без него обойтись. Читали других поэтов, восторгались ими, но произведения Пушкина — в руках у каждого образованного русского, и он перечитывает их всю свою жизнь. Его поэзия — уже не проба пера, не литературный опыт, не упражнение: она — его призвание, и она становится зрелым искусством; образованная часть русской нации обрела в нем впервые дар поэтического слова.

Пушкин как нельзя более национален и в то же время понятен иностранцам. Он редко подделывается под просторечие русских песен, он передает свою мысль такой, какой она возникает в нем. Подобно всем великим поэтам он всегда на уровне своего читателя; он становится величавым, мрачным, грозным, трагичным, стих его шумит, как море, как лес, раскачиваемый бурей, и в то же время он ясен, прозрачен, сверкает, полон жаждой наслаждения и душевных волнений. Русский поэт реален во всем, в нем нет ничего болезненного, ничего от того преувеличенного патологического психологизма, от того абстрактного христианского спиритуализма, которые так часто встречаются у немецких поэтов. Муза его — не бледное создание с расстроенными нервами,

закутанное в саван, а пылкая женщина, сияющая здоровьем, слишком богатая подлинными чувствами, чтобы искать поддельных, и достаточно несчастная, чтобы иметь нужду в выдуманных несчастьях. У Пушкина была пантеистическая и эпикурейская натура греческих поэтов, но был в его душе и элемент вполне современный. Углубляясь в себя, он находил в недрах души горькую думу Байрона, едкую иронию нашего века.

В Пушкине видели подражателя Байрону. Английский поэт действительно оказал большое влияние на русского. Общась с сильным и привлекательным человеком, нельзя не испытать его влияния, нельзя не созреть в его лучах. Сочувствие ума, который мы высоко ценим, дает нам вдохновение и новую силу, утверждая то, что дорого нашему сердцу. Но от этой естественной реакции далеко до подражания. После первых своих поэм, в которых очень сильно ощущается влияние Байрона, Пушкин, с каждым новым произведением, становится все более оригинальным; всегда глубоко восхищаясь великим английским поэтом, он не стал ни его клиентом, ни его паразитом³, ни *traduttore*, ни *traditore**.

К концу своего жизненного пути Пушкин и Байрон совершенно отдаляются друг от друга, и по весьма простой причине: Байрон был до глубины души англичанин, а Пушкин — до глубины души русский, — русский петербургского периода. Ему были ведомы все страдания цивилизованного человека, но он обладал верой в будущее, которой человек Запада уже лишился. Байрон, великая свободная личность, человек, уединяющийся в своей независимости, все более замыкающийся в своей гордости, в своей надменной, скептической философии, становится все более мрачным и непримиримым. Он не видел перед собой никакого близкого будущего и, удрученный горькими мыслями, полный отвращения к свету, готов связать свою судьбу с племенем славяно-эллинских морских разбойников, которых принимает за греков античных времен. Пушкин, напротив, все более успокаивается, погружается в изучение русской истории, собирает материалы для исследования о Пугачеве, создает историческую драму «Борис Годунов», — он обладает инстинктивной верой в будущность России; в душе его звучали торжествующие, победные клики, поразившие его еще в детстве, в 1813 и 1814 годах; одно время он даже увлекался петербургским патриотизмом, который похваляется количеством штыков и опирается на пушки. Эта спесь, конечно, столь же мало извинительна, как и доведенный до крайности аристократизм лорда Байрона, однако причина ее ясна. Грустно сознаться, но патриотизм Пушкина был узким; среди великих поэтов встречались царедворцы, свидетельством тому — Гёте, Расин и др.; Пушкин не был ни царед-

* Ни переводчиком, ни предателем (*итал.*). — *Ред.*

ворцем, ни сторонником правительства, но грубая сила государства льстила его патриотическому инстинкту, вот почему он разделял варварское желание отвечать на возражения ядрами. Россия — отчасти раба и потому, что она находит поэзию в материальной силе и видит славу в том, чтобы быть пугалом народов.

Те, кто говорят, что пушкинский «Онегин» — это русский «Дон-Жуан», не понимают ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни России: они судят по формальным признакам. «Онегин» — самое значительное творение Пушкина, поглотившее половину его жизни. Возникновение этой поэмы относится именно к тому периоду, который нас занимает, она созрела под влиянием печальных лет, последовавших за 14 декабря. И кто же поверит, что подобное произведение, поэтическая автобиография, может быть простым подражанием?

Онегин — это ни Гамлет, ни Фауст, ни Манфред, ни Оберман, ни Тренмор, ни Карл Моор⁴; Онегин — русский, он возможен лишь в России; там он необходим, и там его встречаешь на каждом шагу. Онегин — человек праздный, потому, что он никогда и ничем не был занят; это лишний человек в той среде, где он находится, не обладая нужной силой характера, чтобы вырваться из нее. Это человек, который испытывает жизнь вплоть до самой смерти и который хотел бы отведать смерти, чтобы увидеть, не лучше ли она жизни. Он все начинал, но ничего не доводил до конца; он тем больше размышлял, чем меньше делал, в двадцать лет он старик, а к старости он молодеет благодаря любви. Как и все мы, он постоянно ждал чего-то, ибо человек не так безумен, чтобы верить в длительность настоящего положения в России... Ничто не пришло, а жизнь уходила. Образ Онегина настолько национален, что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом.

Чацкий, герой знаменитой комедии Грибоедова, — это Онегин-резонер, старший его брат.

Герой нашего времени Лермонтова — его младший брат. Онегин появляется даже во второстепенных сочинениях; утрированно ли он изображен или неполно — его всегда легко узнать. Если это не он сам, то, по крайней мере, его двойник. Молодой путешественник в «Тарантасе» гр. Соллогуба⁵ — ограниченный и дурно воспитанный Онегин. Дело в том, что все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть *чиновниками* или *помещиками*.

Цивилизация нас губит, сбивает нас с пути; именно она делает нас, бездельных, бесполезных, капризных, в тягость другим и самим себе, заставляет переходить от чудачества к разгулу, без сожаления растрачивать наше состояние, наше сердце, нашу юность в поисках

занятий, ощущений, развлечений, подобно тем ахенским собакам у Гейне, которые, как милости, просят у прохожих пинка, чтобы разогнать скуку⁶. Мы занимаемся всем: музыкой, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом, чтобы только рассеяться, чтобы забыть об угнетающей нас огромной пустоте.

Цивилизация и рабство — даже без всякого лоскутка между ними, который помешал бы раздробить нас физически или духовно меж этими двумя насильственно сближенными крайностями!

Нам дают широкое образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира, а потом кричат: «Оставайтесь рабами, немыми и пассивными, иначе вы погибли». В возмещение за нами сохраняется право драть шкуру с крестьянина и проматывать за зеленым сукном или в кабаке ту подать крови и слез, которую мы с него взимаем.

Молодой человек не находит ни малейшего живого интереса в этом мире низкопоклонства и мелкого честолюбия. И однако именно в этом обществе он осужден жить, ибо народ еще более далек от него. «Этот свет» хотя бы состоит из падших существ одной с ним породы, тогда как между ним и народом ничего нет общего. Петр I так разорвал все традиции, что никакая сила человеческая не соединит их — по крайней мере в настоящее время. Остается одиночество или борьба, но у нас не хватает нравственной силы ни на то, ни на другое. Таким-то образом и становятся Онегиными, если только не погибают в домах терпимости или в казематах какой-нибудь крепости.

Мы похитили цивилизацию, и Юпитер с той же яростью пожелал наказать нас, с какой он терзал Прометея.

Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского, другую жертву русской жизни, *vice versa** Онегина. Это — острое страдание рядом с хроническим. Это одна из тех целомудренных, чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращенной и безумной среде, — приняв жизнь, они больше ничего не могут принять от этой нечистой почвы, разве только смерть. Эти отроки — искупительные жертвы — юные, бледные, с печатью рока на челе, проходят как упрек, как угрызение совести, и печальная ночь, в которой «мы движемся и пребываем», становится еще чернее.

Пушкин обрисовал характер Ленского с той нежностью, которую испытывает человек к грезам своей юности, к воспоминаниям о временах, когда он был так полон надежды, чистоты, неведения. Ленский — последний крик совести Онегина, ибо это он сам, это его юношеский идеал. Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукой Онегина, — Онегина, который любил его и, целясь в него, не хотел ранить.

* Другую сторону (*лат.*). — *Ред.*

Пушкин сам испугался этого трагического конца; он спешит утешить читателя, рисуя ему пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта.

Рядом с Пушкиным стоит другой Ленский — то Веневитинов, правдивая, поэтическая душа, сломленная в свои двадцать два года грубыми руками русской действительности.

Между этими двумя типами, между самоотверженным энтузиастом-поэтом и человеком усталым, озлобленным, лишним, между могилой Ленского и скукой Онегина медленно течет глубокая и грязная река цивилизованной России, с ее аристократами, бюрократами, офицерами, жандармами, великими князьями и императором, — бесформенная и безгласная масса низости, раболепства, жестокости и зависти, увлекающая и поглощающая все, «сей омут, — как говорит Пушкин, — где мы с вами купаемся, дорогой читатель»⁷. <...>

В 1837 году Пушкин был убит на дуэли одним из чужеземных наемных убийц, которые, подобно наемникам средневековья или швейцарцам наших дней, готовы предложить свою шпагу к услугам любого деспотизма. Он пал в расцвете сил, не допев своих песен и не досказав того, что мог бы сказать.

За исключением двора с его окружением весь Петербург оплакивал Пушкина; только тогда стало видно, какую популярность он пользовался. Когда он умирал, плотная толпа теснилась около его дома в ожидании известий о здоровье поэта. Это происходило в двух шагах от Зимнего дворца, и император мог наблюдать из своих окон толпу; он проникся чувством ревности и лишил народ права похоронить своего поэта; морозной ночью тело Пушкина, окруженное жандармами и полицейскими, тайком переправили в церковь чужого прихода, там священник поспешно отслужил по нем панихиду, и сани увезли тело поэта в монастырь, в Псковскую губернию, где находилось его имение. Когда обманутая таким образом толпа бросилась к церкви, где отпевали покойного, снег уже замел всякий след погребального шествия.

Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги. Погибают даже те, которых пощадило правительство, — едва успев расцвести, они спешат расстаться с жизнью.

Là sotto giornibrevi e nebulosi
Nasce una gente a cui il morir non duole*⁸.

* Там, под облачным небом, где краток день, рождается племя, которому умирать не жалко (*итал.*). — *Ред.*

Рылеев повешен Николаем.

Пушкин убит на дуэли, тридцати восьми лет.

Грибоедов предательски убит в Тегеране.

Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе.

Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет.

Кольцов убит своей семьей, тридцати трех лет.

Белинский убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой.

Полежаев умер в военном госпитале, после восьми лет принудительной солдатской службы на Кавказе.

Баратынский умер после двенадцатилетней ссылки.

Бестужев погиб на Кавказе, совсем еще молодым, после сибирской каторги...

«Горе народам, которые побивают камнями своих пророков!» — говорит Писание⁹. Но русскому народу нечего бояться, ибо ничем уже не ухудшить несчастной его судьбы.

V

Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года

<...>

Первые годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении поработанного и гонимого существа. Людями овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, которая не имела бы близких родственников в числе сосланных, и почти ни одна не осмелилась надеть траур или выказать свою скорбь. Когда же отворачивались от этого печального зрелища холопства, когда погружались в размышления, чтобы найти какое-либо указание или надежду, то сталкивались с ужасной мыслью, леденившей сердце.

Невозможны уже были никакие иллюзии: народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом-то и состоял великий вопрос. Одни полагали, что нельзя ничего достигнуть, оставив Россию на буксире у Европы; они возлагали свои надежды не на будущее, а на возврат к прошлому. Другие видели в будущем лишь несчастье и разорение; они проклинали убудочную цивилизацию и безразличный ко всему народ. Глубокая печаль овладела душою всех мыслящих людей.

Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением. Поэты, живущие во времена безнадежности и упадка, не слагают таких песен — они нисколько не подходят к похоронам.

Вдохновение Пушкина его не обмануло. Кровь, прихлынувшая к сердцу, пораженному ужасом, не могла там остановиться; вскоре она дала о себе знать вовне. <...>

Два поэта, которых мы имеем в виду и которые выражают новую эпоху русской поэзии, — это Лермонтов и Кольцов. То были два мощных голоса, доносившиеся с противоположных сторон.

Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действительность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что.

Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова. Он написал энергическую оду, в которой, заклеив низкие интриги, предшествовавшие дуэли, — интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами¹⁰, — воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!»¹¹. Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Произошло это в 1837 году; в 1841 тело Лермонтова было опущено в могилу у подножья Кавказских гор.

И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...
...Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно. !*¹²

* Стихи, посвященные Лермонтовым памяти князя Одоевского, одного из осужденных по делу 14 декабря, умершего на Кавказе солдатом. — *Примеч. А. И. Герцена.*

К счастью, для нас не потеряно то, что написал Лермонтов за последние четыре года своей жизни. Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, — то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова — его поэзия, его мученье, его сила. Симпатии его к Байрону были глубже, чем у Пушкина. К несчастью, быть слишком проникательным у него присоединилось и другое — он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли. Люди гораздо снисходительней относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве.

Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям, что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово.

Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человечеству, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть.

Но можно ли сомневаться в существовании находящихся в зародыше сил, когда из самых глубин нации зазвучал такой голос, как голос Кольцова?

В течение века или даже полутора веков народ пел одни лишь старинные песни или уродливые произведения, сфабрикованные в первой половине царствования Екатерины II. Правда, в начале нашего века

появилось несколько довольно удачных подражаний народной песне, но этим искусственным творениям недоставало правды; то были попытки, причуды. Именно из самых недр деревенской России вышли новые песни. Их вдохновенно сочинял прасол, гнавший через степи свои стада. Кольцов был истинный сын народа. Он родился в Воронеже, до десяти лет посещал приходскую школу, где научился только читать да писать без всякой орфографии. Отец его, скотопромышленник, заставил сына заняться тем же делом. Кольцов водил стада за сотни верст и привык благодаря этому к кочевой жизни, нашедшей отражение в лучших его песнях. Молодой прасол любил книги и постоянно перечитывал кого-нибудь из русских поэтов, которых брал себе за образец, попытки подражания давали ложное направление его поэтическому инстинкту. Наконец проявил себя подлинный его дар; он создал народные песни, их немного, но каждая — шедевр. Это настоящие песни русского народа. В них чувствуется тоска, которая составляет характерную их черту, раздирающая душу печаль, бьющая через край жизнь (*удаль молодецкая*). Кольцов показал, что в душе русского народа кроется много поэзии, что после долгого и глубокого сна в его груди осталось что-то живое. У нас есть еще и другие поэты, государственные мужи и художники, вышедшие из народа, но они вышли из него в буквальном смысле слова, порвав с ним всякую связь. Ломоносов был сыном беломорского рыбака. Он бежал из отчего дома, чтобы учиться, поступил в духовное училище, затем уехал в Германию, где перестал быть простолюдином. Между ним и русской земледельческой Россией нет ничего общего, если не считать той связи, что существует между людьми одной расы. Кольцов же остался при стадах и при делах своего отца, который его ненавидел и с помощью других родственников сделал жизнь для него такой тяжелой, что в 1842 году он умер. Кольцов и Лермонтов вступили в литературу и скончались почти в одно и то же время. После них русская поэзия онемела.

Но в области прозы деятельность усилилась и приняла иное направление. <...>

«Мертвые души» потрясли всю Россию.

Предъявить современной России подобное обвинение было необходимо. Это история болезни, написанная рукою мастера. Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения. Тот, кто откровенно сознается в своих слабостях и недостатках, чувствует, что они не являются сущностью его натуры, что он не поглощен ими целиком, что есть еще в нем нечто,

не поддающееся, сопротивляющееся падению, что он может еще испытать прошлое и не только поднять голову, но, как в трагедии Байрона, стать из Сарданапала-неженки — Сарданапалом-героем¹³.

Тут мы вновь сталкиваемся лицом к лицу с важным вопросом: где доказательства того, что русский народ может воспрянуть, и каковы доказательства противоположного? Вопрос этот, как мы видели, занимал всех мыслящих людей, но никто из них не нашел его решения. <...>

Поэзия, проза, искусство и история показали нам образование и развитие этой нелепой среды, этих оскорбительных нравов, этой уродливой власти, но никто не указал выхода. Нужно ли было приспособляться, как это сделал впоследствии Гоголь, или бежать навстречу своей гибели, как Лермонтов? Приспособиться нам было невозможно, погибнуть — противно; что-то в глубине нашего сердца говорило, что еще слишком рано уходить; казалось, за *мертвыми душами* есть еще души живые. <...>

